

Вот стоит она перед нами, простая татарская ханым – мужем битая, муллой пуганная, в Сибирь сосланная... Не захочешь, да всплакнешь. Дебютный роман сценариста Гузель Яхиной по своим тактико-техническим характеристикам вполне может быть приравнен к газу CS, а потому закономерно угодил во все мыслимые шорт-листы, снискав особое расположение у яснополянского и большекнижного жюри. Кроме того, книжка приглянулась Захару Прилепину: «Чисто по-человечески это просто хороший роман. Убедительный, серьезный, глубокий...

Первое место "Зулейхе..." присуждено совершенно заслуженно. Таких писателей, как Гузель, для меня в этом году нет. Всем советуем прочесть!»

Есть, однако, и другое мнение. «Вокруг романа поднят беспочвенный ажиотаж», – считает татарский драматург Рабит Батулла. Вот это, сдается, гораздо ближе к истине. Сейчас попробую обосновать.

По-моему, сценарист в литературе, за редким исключением, – примета скверная, страшнее черной кошки: иные эстетические парадигмы, иная степень владения языком, иные требования к материалу, в конце концов. Синема, все-таки, – плод коллективного труда: режиссер отретуширует сюжетные нестыковки, оператор восполнит лакуны видеорядом. Но прозаик остается один на один с читателем, и вот тут сценарных навыков оказывается трагически мало. Скажем, Арабов в «Тельце» выглядел вполне кошерно, но когда взялся продолжить лениниану в прозе, вышел откровенный конфуз – кто заглядывал в «Столкновение с бабочкой», тот меня поймет. С Яхиной приключилась примерно та же история: барышня начисто лишена слуха, охотно жертвует правдоподобием ради эффектной картинки и еще охотнее оперирует штампами.

С них, пожалуй и начнем, – благо, в романе им несть числа. Если попадется читателю ссыльный интеллигент, – то непременно в треснувшем пенсне. Если чекист, – не извольте сомневаться, с горячим сердцем и чистыми руками. Если муж, – то гарантированы мохнатое брюхо, невымытые пятки в трещинах и загрубелые пальцы. И совершенно механический секс: *«Во время исполнения супружеского долга Зулейха обычно мысленно сравнивает себя с маслобойкой, в которой хозяйка сильными руками взбивает масло толстым и жестким пестом»*. Но уж если любовник, – налицо сахарно-белые зубы, светлая и чистая кожа и свежее дыхание. И неземная стр-расть: *«Она не ходила – летала... и целыми днями ждала ночи»*. Свежее дыхание облегчает понимание, ага. Впрочем, на фоне дальнейшего это зло не так большой руки. Ибо «Зулейха», – воспользуюсь определением Мартына Ганина – содержит все основные признаки культурной невменяемости, которую в просторечии называют графоманией.

Яхина – по ту сторону литературного добра и зла; свидетельством тому стиль романа – он сродни рунической поэзии, где каждая последующая строка перефразирует предыдущую:

*«Как получилось, что за годы он прикипел к этой недружелюбной и суровой земле? К этой опасной реке, коварной в своем вечном непостоянстве, имеющей тысячи оттенков цвета и запаха? К этому*

бескрайнему урману, утекающему за горизонт? К этому холодному небу, дарящему снег летом и солнце – зимой?» – и так 512 страниц.

Большая книга, это точно. Преимущественно по объему.

Время от времени авторесса производит вполне приличный продукт: «За высадкой переселенцев наблюдает Игнатов, держа под мышкой неизменную папку “Дело”. За долгие месяцы пути она выгорела, посветлела, казенное лицо ее покрылось синими шрамами печатей и штампов». Но качественная метафора тут же тонет в россыпи красот совершенно дилетантского свойства: «Он обнажает в улыбке прокуренные, хороводом пляшущие во рту зубы». Что за напасть у мужика с зубами – остеопороз, пародонтоз, диабет? Все остальное ничуть не лучше. «Нежно-серые стволы пообтрепавшихся за зиму елей», – простите, как елки обтрепались за зиму – ведь не лиственницы же? Впрочем, наткнувшись на «щепотку сала», понимаешь, что Г.Я. описывает какую-то параллельную реальность, далекую от земных законов.

Судите сами: баржа со спецпереселенцами тонет, в кораблекрушении гибнут инструменты и провиант, единственная надежда тридцати выживших – мешок патронов к табельному револьверу коменданта (кстати, отчего-то шестизарядному – никак, вместо нагана кольт выдали?). Впереди зима и практически верная смерть в тайге. Но что б вы думали? – ни гипотермии, ни цинги, ни алиментарной дистрофии. От Ильича до Ильича – без инфаркта и паралича! Зато с постоянным перевыполнением плана и самогоном из всех видов местной флоры. С землянкой на тридцать человек, вырытой руками и палками (!) за два дня (!). С медведем, которого Зулейха завалила одним выстрелом, – даром что ружье первый раз взяла. Тимофей Баженов рядом с яхинскими робинзонами – просто жалкий двоечник.

Прикажете еще? Пожалуйста: «Зулейха пробирается по лесу... На ней серый, в крупную светлую клетку и с широченными плечами двубортный пиджак... На блестящих темно-голубых пуговицах, намертво пришитых суровыми нитками прошлым владельцем, мелкие непонятные буковки хороводом: *Lucien Lelong, Paris*». Сделайте милость, растолкуйте, как прочла героиня французскую надпись, коли даже с кириллицей не знакома?

Кстати, о Париже: в 1946 году сын героини Юзуф получает письмо от своего учителя, художника Иконникова, ушедшего из трудпоселка на фронт: «Слов в письме не было; в центре листа – свечка Эйфелевой башни (карандаш, тушь); мелкая приписка в углу: *Марсово поле, июнь*

1945 (Париж цензор вымарал черным, а Марсово поле и дату оставил)».

Бежал к союзникам? – вряд ли: солдатский треугольник, цензор...

Значит, легендарная встреча имела быть не на Эльбе, а на Сене? Да уж.

Музыку Покрасса оставить, текст Солодаря срочно переписать: «Едут, едут по Парижу наши казаки!»

Впрочем, эта правка – лишь часть работы, которую предстоит проделать историкам после прочтения «Зулейхи». Судите сами: *«Весной сорок второго Кузнец явился, как всегда, – снегом на голову, вдруг. Привел с собой баржу, плотно набитую изможденными людьми с темно-оливковой кожей и породистыми вытуклыми профилями – крымские греки и татары... Басурман депортировали с южных территорий превентивно, не дожидаясь, пока край будет занят оккупантами и малые народы и народцы получают возможность переметнуться к врагу»*. До яхинских открытий считалось, что «басурман» выселяли из Крымской АССР в 1944-м, и оказаться вместе они никак не могли: татар депортировали 18-20 мая, а греков – 27 июня...

Но самый большой труд достался мусульманским богословам: им придется редактировать ханафитский (как минимум) мазхаб. Опять-таки цитата: *«Муртаза долбит землю у могилы, пытаясь вставить лопату в еле видную, смерзшуюся щель... Щель постепенно ширится, растет, поддается – и наконец распахивается с протяжным треском, обнажая длинный деревянный ящик, из которого веет мерзлой землей. Муртаза бережно сыпает туда солнечно-желтое, звонкое на морозе зерно... Хлеб. Будет спать здесь, между Шамсией и Фирузой, в глубоком деревянном гробу, – ждать весны... Вырыть схрон на деревенском кладбище придумал Муртаза... Крышка ящика захлопывается. Муртаза забрасывает снегом разворошенную могилу»*. До «Зулейхи» правоверным разрешалось вскрывать могилу лишь в исключительных случаях – скажем, если захоронению грозит затопление...

Сценаристу Яхиной явно требуется режиссер – желательно,

Станиславский с его громовым «Не верю!»

Однако самое недостоверное, что есть в тексте – даже не детали, но авторский, простите за матерное слово, мессидж. Книжку условно можно разделить на две части. Первая выглядит анафемой 30-м годам: Г.Я. активно перерабатывает литературный секонд-хэнд, прилежно воспроизводя кошмар стольпинского вагона по Солженицыну и Гинзбург. СССР вызывает, мягко говоря, не самые лучшие ассоциации: *«Велика страна, где живет Зулейха. Велика и красна, как бычья кровь. Зулейха стоит перед огромной, во всю стену, картой, по которой*

*распласталось гигантское алое пятно, похожее на беременного слизня, – Советский Союз».* Однако за этим следует головокружительное сальто-мортале – ап! – и анафема плавно перетекает в осанну, «Крутой маршрут» – в «Аристократов», если не в «Спутник агитатора». На берегах Ангары происходит массовая сбыча мечт. Зулейха наконец-то рождает жизнеспособного ребенка, профессор Лейбе чудесным образом исцеляется от давнего психического недуга, чекист Игнатов обретает любовь, пусть и недолгую, агроном-теоретик Сумлинский радостно применяет свои знания на практике, а художник Иконников получает возможность хоть иногда писать для души, – и все вместе вливаются в созидательный труд на благо социалистического Отечества. Название трудового поселка Семрук созвучно имени вещицы птицы справедливости и счастья Семруг – легенда о ней в тексте, знамо, присутствует.

«Любовь и нежность в аду», – писала Л. Улицкая в предисловии к роману. Однако ад на поверку оказывается более чем комфортным. Сравните-ка два более чем красноречивых пассажи. Год 1930, деревня Юлбаш: *«Зулейха открывает глаза. Темно, как в погребке... За окошком у изголовья – глухой стон январской метели».* Год 1938, поселок Семрук: *«Зулейха открывает глаза. Солнечный луч пробивается сквозь ветхий ситец занавески... Рассвет».* Трудящаяся женщина Востока сбросила ярмо векового рабства, и было ей счастье. Долой паранджу! Гузель Шамилевна, вы вообще-то за красных или за белых? Впрочем, в контексте ситуации не суть важно.

Важно вот что: стоит перед нами простая татарская ханым – мужем битая, муллой пуганная, в Сибирь сосланная... Читатель доволен: ему что сало щепотками, что Красная Армия на Рю де Ла Пэ – все по барабану. Ему, болезному, немного надо: сперва прослезиться, потом умилиться, а прочее от лукавого. И это, между прочим, в случае Яхиной совершенно верно. Ибо единственный возможный способ читать «Зулейху» – с широко закрытыми глазами. Как она и была написана.